

КРАСНАЯ НОВЬ

Ж У Р Н А Л
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
КРИТИКИ И ПУБЛИЦИСТИКИ

1935

К Н И Г А
ТРЕТЬЯ
М А Р Т

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

Чехов

Встречи

Скиталец

Весной, 1902 года в Ялте, где Чехов жил в это время на своей даче, он позвал к себе на ужин съехавшихся на весенний сезон писателей.

Собралась довольно большая компания: Иван Бунин, Телешов, Белоусов, Найденев, Елпатьевский, поэт Ладыженский и еще кое-кто.

Мы собрались еще за светом, пили чай, гуляли в саду, беседовали в его уютном кабинете, шутили, спорили, острили.

Чехов говорил мало. Как все истинные юмористы, — очень редко смеялся, заставляя смеяться других, и лишь улыбался его близоруким глазам, спрятанным за стеклами пенсне. Высокий, со впалой, большой грудью, изредка покашливающий сухим кашлем, он говорил низким, приятным басом, благородно звучащим.

Каждый из собравшихся гостей считал нужным что-то рассквздать, о чем-нибудь расспросить Чехова. Говорили о современной литературе, об издателях, о театре, о новых пьесах.

— У меня в этом году не будет пьесы! — с обычным мрачным видом сказал Чехов.

— Почему?

— Лев Николаевич отсоветовал: я его как-то спросил, нравятся ли ему мои пьесы? «Нет, говорит, не нравятся!» Почему? «Еще хуже, чем у Шекспира!»

Все засмеялись и долго острили над «Стариком», как они все называли Толстого.

— А не находите ли вы, что Толстой просто ревнив: завидует всем, кто моложе его?

— Это — правда! — подтвердил Елпатьевский. — Когда я в первый раз лечил его, он вдруг спросил меня, сколько мне лет? «Сорок!» — У него даже глаза засверкали: — «Эх! Как я в сорок-то лет писал!»

— Антон Павлович! Почему, когда в прошлый раз у вас был молодой писатель и очень долго говорил, — вы его внезапно спросили: «А вы любите граммофон?».

— Ну, ясно, почему! — добродушно отмахнулся Чехов с юмористической ноткой в голосе.

Маленький, лысый и красноносый поэт Ладыженский, которого все почему-то называли «пензенским помещиком», подобострастно любивший Чехова, спросил:

— Антон Павлович! Получил ли ты от Академии наук диплом на звание академика?

— Получил! — очень серьезно ответил Чехов. — Хотели и тебя тоже в академики избрать, но, когда узнали, что ты пензенский, — сказали: «Нет, нам пензенских не надо!» — После взрыва общего смеха. Чехов добавил: — Я от этого диплома отказался и отослал обратно; то же сделал и Короленко!

— Отчего?

— Да из-за солидарности: Горького тогда в академики избрали, а он в тюрьме оказался! Академия аннулировала в газетах его избрание, ну, мы и решили отказаться!

— Антон Павлович, ведь это, конечно, вы несерьезно сказали, будто по совету Толстого не написали пьесы?

— Ну, само собой, не по его совету, а по нездоровью: сам-то он за это время «Хаджи Мурата» и «Отца Сергия» успел написать! — Чехов вздохнул. — Нет, писать — надо, а то не успеешь! Мне вот недавно в Москве профессора исследования делами, коховские палочки нашли! Надо журнал издавать! Хороший, новый журнал, чтобы всем там собираться!

На этот раз Чехов не в шутку, а всерьез заговорил о создании нового журнала или периодический выходивших альманахов. Мысль эта всем понравилась.

— Хорошо бы без буржуа обойтись! без редактора-издателя!

— Самим дело повесть, на паях!

— Товарищество писателей учредить!

— Уж чего лучше — к «Знанию» журнал пристегнуть?

Сидевшие довольно долго за ужином, мы в оживленных разговорах не заметили, что Чехова давно уже нет за столом. Дежуривший в столовой слуга с улыбкой объяснял, что «Антон Павлович спать пошел, но просил передать, чтобы сидели без него».

— Это было очень похоже на Чехова. Никто из нас не знал тогда, насколько серьезно он был болен. Все мы с самым беспечным и жизнерадостным настроением гадали за столом, попивая после ужина крымское вино, обсуждая судьбы России и родной литературы. Некоторые дошли уже до мировых вопросов — «иерархии и сотворения мира», как говорится в чеховском рассказе «Мысли-тель».

Когда уже на рассвете расходились по домам, Белоусов вдруг остановился и хлопнул себя ладонью по лбу:

— Послушайте, вы, писатели земли русской! Да что же он такое сказал?

— Кто?

— Да Чехов же! Так, между прочим, вскользь упомянул о «коховских палочках», а потом, как ни в чем не бывало, начал говорить о журнале! Да как же это мы не заметили и даже не поняли, не обратили внимания, что ведь это он про свою близкую смерть говорил?



Была первая постановка новой пьесы Чехова «Вишневый сад».

Антон Павлович к этому времени женился на артистке Художественного театра Кинппер и уже не так легко переносил свое многолетнее, вынужденное болезнью ялтинское отшельничество. Жена попрережнему с выдающимися успехами играла в Художественном, выступала в главных ролях его пьес, которые давно уже стали любимыми пьесами публики. Теперь дирекция, увидевшему, попросила его приехать в Москву на премьеру новой пьесы, имен в пьесу устроить публичные овации первоклассному писателю и драматургу, своими пьесами значительно выдвинувшему театр при его первых шагах, когда беспринтально, беспокойная в своих исканиях «чайка» осталась навсегда его трогательной эмблемой.

Это было в конце зимы 1904 года. Стояли солнечные, мягкие дни, пахло талым снегом.

Театр был переполнен сверх всякой меры. «Вишневый сад» поставили и сыграли изумительно, участвовали лучшие, давно уже ставшие знаменитостями артисты этой неповторимой и неподражаемой труппы, в которой нет плохих исполнителей, где каждый на своем месте прекрасен. Выступал «сам» Станиславский, великолепна была Кинппер, ярко Москвин.

Наконец, после третьего акта произошло чествование автора. На сцене стояла вся труппа с В. И. Немировичем-Данченко во главе. Вышел Чехов.

Публика почтительно встала.

Трогательна и вместе жалок был Чехов на сцене: вероятно, она ослепила его своими яркими огнями, безжалостно выдала живьем жадной, тысячелюбой, глазастой толпе, с невольным разочарованием созерцавшей своего лучшего певца: высокий, худой, не знающий, куда девать руки, слегка горбившийся, с подогнутыми коленками, в куртой визитке и коротковатых брюках, со взерошенной причешкой и седеющей бордюркой клинышком, в пенсне, окруженный на сцене полукругом актерской толпы, он в этот момент походил на Дон-Кихота перед Альфонсой или на бодлеровского «Альбатроса», очутившегося на палубе среди забавляющихся

матросов и волочащего по земле могучие крылья:

«Поэт, вот образ твой!»

— Сядьте! — с состраданием сказал среди всеобщей тишины раздавшийся как бы с неба низкий, грудной бас, всегда оказывающийся в подобных случаях на галерке. Но, видимо, страдавший душой от встречи с живыми читателями, крупнейший из художников своей эпохи чувствовал себя совершенно растерявшимся, не хотел садиться, да и не на что было сесть, — а следовало бы: вид у него был совсем больной и слабый. Казалось, что единственное, что он сделал бы с удовольствием — это уйти поскорее со сцены, скрыться от тысяч любопытных глаз.

Но напротив него стоял его друг, великий режиссер театра, всех пьес Чехова и происходящие сцены чествования — Владимир Иванович Немирович-Данченко, с развернутым большим листом в руке: это была речь от лица труппы и всего Художественного театра, благодарственная, юбилейная и вместе дружеская речь, начинавшаяся интимным обращением:

— Антон!



Через несколько дней Чехов встретился мне за кулисами Художественного театра во время представления «Дядя Ваня» и, задержав мою руку в своей, сказал:

— Послушайте, приходите-ка ко мне завтра обещать, часам к двум!

Я был вполне уверен, что Чехова, как и остальные знаменитости, у которых мне доводилось бывать в Москве, затеет у себя званый артистическо-писательский обед, вроде ялтинского ужина, о котором я вспоминал с удовольствием. Правда, Чехов и тогда был серьезно болен, обмолвившись о «коховских палочках», но теперь выглядел много хуже, чем два года назад: значительно исхудал, как-то постарел и осунулся. Говорили, что в Москве у него обострилась туберкулез и что московские врачи решили вопрос о поездке его на лето

за границу, не удовлетворяясь более его крымским сиденьем, да и самому Чехову наверно очень надоела Ялта с русскими почитателями и посетителями, напоминавшими граммофон.

На другой день я аккуратно к двум часам явился на московскую квартиру Чехова — где-то около Каретного ряда, в первом этаже небольшого дома. Вместо многолюдного собрания встретил в гостиной Немировича-Данченко, бывшего у него ежедневно, и еще двух-трех человек из труппы и администрации театра. Разговор был товарищеский, интимный, отчасти деловой: Чехов указывал на некоторые мелкие, второстепенные недостатки первой постановки «Вишневой сада» и просил их исправить при следующих постановках.

Поговорив еще о каких-то мелочах, все ушло, кроме В. И., с которым у Чехова завязался разговор совсем домашний: полусушня он жаловался другу на жену, которая его не слушается:

— Ведь она еще после болезни не оправилась, а лекарство принимать бросила — капризничает всякий раз!

— Не мешай в таких случаях и прикрикнись! — посоветовал В. И.

В это время вошла Ольга Леонардовна, молодая, красивая, цветущая. С ее приходом как будто и в комнате стало светлее. Пожимая нам руки, она сияла приветливой улыбкой.

«Но муж суровым и даже грубоватым тоном «ввел» ей сейчас же принять какое-то лекарство».

Улыбка жены, стоявшей перед ним «руки в боки», стала еще более сияющей: видно было, что она и в грош не ставит «строгости» такого мужа, как Чехов: он органически не был способен «прикрикивать» на кого бы то ни было, тем менее на несомненно обожаемую жену. «Суровый тон» был принят отчасти для нас и во всяком случае очень прозрачно прикрывал бесконечную мягкость и нежную заботливость о любимой женщине, в то время, когда он сам более чем кто-либо нуждался в ласковых заботах о его преждевременно и безнадежно угасающей жизни.

Через несколько минут ушел Немирович, ушла и О. Л.

Несколько недоумевающий, я было тоже поднялся уходить.

— Что вы? — возразил Чехов. — Сейчас мы с вами обедаем будем — вдвоем!

Действительно, когда мы вошли в столовую, там уже был накрыт обед на два прибора. Кушанья подавал единственный в доме слуга. Из поданного маленького графинчика А. П. собственноручно налил мне рюмку водки.

— Выпил бы и я с вами! — со вздохом сказал он. — Когда был здоров — пил с удовольствием, а теперь не могу! Очень жалею, что нельзя мне водку пить.

— Московский климат вреден вам, на юг поезжайте!

— Да, на юг! — опять вздохнул хозяин. — На днях поеду! Доктора посылают за границю на лето, а мне что-то не хочется! Россию люблю! Мне и Крым не нравится! В русскую бы деревню, с эдакой бы березовой рощей, а они меня в Бинарци!

Я попросил его подарить мне на память какой-нибудь том его рассказов.

Чехов тотчас же послал слугу в ближайший книжный магазин купить книгу. Тот скоро вернулся с томиком «Хмурых людей». А. П. тут же за обеденным столом сделал надпись своим неразборчивым, тонким, женственным почерком.

— Послушайте, — продолжал он, передавая мне книгу, — отчего вы мало пишете? Вам следует больше писать! Я именно это хотел сказать вам на прощание! У вас теперь могло быть томик четыре, а вы что-то на первом замешкались. Я и сам много лентяйничал, а теперь очень жалею об этом!

— Не знаю, кого слушать! — смеясь, ответил я — недавно Лев Толстой говорил мне: не пишите много, не надо много писать!

Чехов улыбнулся.

— Не верьте хитрому старику! Он это всем говорит, и мне говорил, потому что сам стареть стал! Нет! — тут Чехов вздохнул печально. — Надо, надо писать! Вы начали вашу песню по-солоньному, а если остановитесь навсегда на одном томе, выйдет по-воробьиному! Я вам про себя скажу: если

бы я остановился на первых рассказах, — меня бы и писателем не считали. Чехонте! Маленький томик маленьких смешных анекдотов! Думаю, что и весь я тут! Серьезные писатели говорили: чужой он нам, потому что смеется! Как можно смеяться в наше время?

Он помолчал.

— Придется ли еще увидиться — неизвестно! Поговорить с глазу на глаз — хорошо бывает! Послушайте, вы помните, как у вас в одном рассказе сказано: «Протодеякон прокивает сомневающийся в бытии божьем, а они стоят на клиросе и поют сами себе анафему!»

Он откинулся к спинке стула и заикнулся почти беззвучным, но заразительным смехом, вдруг сделавшись похожим на свой молодой портрет, когда Чехов был жизнерадостным, беззаботным «Чехонте».

Обед наш в разговорах затянулся часа на два. Вдруг мне вспомнилась его загадочная фраза: «Придется ли еще увидиться — неизвестно!» И меня поразила мысль, что этот удивительный, очень одинокий, замкнутый, приговоренный к смерти человек думает не о себе, не о своем положении, трагичность которого он, как врач, понимал лучше, чем кто-либо из опекавших его друзей, но находил время заботиться и тревожиться о судьбе начинающих писателей. Я знал о его серьезной болезни, но почему-то думал, что еще увижусь с ним. Увидеться не пришлось.

Летом того же года телеграфная весть о смерти Чехова на чужбине больно ударила по сердцам, изболелшим под гнетом мрачной действительности. Смерть отняла тогда у России последнего нежного друга, печальника «чеховской» эпохи: он был любимым, близким, родным писателем для своего поколения.

Я написал тогда стихи, читанные мной на ряде вечеров, посвященных «памяти Чехова». Вот они:

Неумолкный рок унес его к могилу!

Болезнь тяжелая тула его снала:

Она была в груди и всколу с ним ходила —

Вся жизнь страны родной болезнью его была!

Пророки и вожди, кипя душой мятежной,
Могли быть гневными, могли, любя, карать.
А он любил людей такой любовью нежной,
Как любит женщина, как любит только мать.

Печали жгучий яд он выпил полной чашей,
Выпитал в себя всю грусть, глубокий, как

родник,
И был отравлен он тоскою жизни нашей,
Терпением рабов и тупостью владык!

Дыханье пошлости ему дышать мешало,
До гроба мучила холодная вражда,

И наконец толпа любовью истерзала —

Но был он одинок повсюду и всегда.

Он жил под темною, загадочною властью

Судьбы насмешливой, бесчувственной и злой,

И капля каждая им выпитого счастья

Была отравлена невидимой рукой.

И, новою понятый, судимый так напрасно,

Он умер оттого, что слишком жизнь бедна,

Что люди на земле и грубы и несчастны,

Что стонет под ярмом родная сторона.

И, оставляя мир, он звал тебя, свобода!

Последний вздох его уже звучал тобой!

Он чувствовал, что дасть там лучи поскоса,

А ночь еще сильна и давит край родной.

О, родина моя, ты вознесешь моления

И тень прекрасную благословишь, любя,

Но проклятия же ты проклятием презренья

Бездушных торговцев, что продают тебя!

Пусть смерть его падет на гадов дракхлой

любви,

Чьи руки черствые обогреты в крови,

Кто добывая его, а после был у гроба

И громче всех кричал о дружбе и любви.

Блесни над родиной, могучее светило,

Птиц ночи разгони, прогнав ночную тень,

И, возрождая жизнь над темною могилкой,

Приди, торжественный, давно желанный день!